

Александр Фатеев

Зов красной звезды

https://litres.ru/74712688
SelfPub; 2026

Аннотация

Инженер Лось собирается на Марс, новый аппарат готов, Гусев отказывается лететь, врачи не рекомендуют, но сердце зовет. Где ты, сын неба....

Александр Фатеев
Зов красной звезды

Глава 1. Красная звезда

Марсианский мох, принесённый Лосем в старом кожаном кисете, давно истлел, обратившись в рыжую пыль на дне лабораторного стола. Но красная звезда не отпускала. Она жгла инженера сквозь толщу петербургских облаков, сквозь гул заводов и сырую изморозь на оконном стекле.

На Ждановской набережной вместо старого сарая выстроили ангар. Рабочие с соседнего завода, те самые, что приходили провожать Лося в первый полёт, помогли разобрать старые стены и вывезти мусор, а потом вместе с ним залили новый фундамент и подняли каркас. Ангар получился высокий, светлый, с бетонным полом и фермами под самую крышу. Республике было не до старых построек, все силы уходили на восстановление хозяйства и электрификацию, но рабочие приходили по вечерам, после смены, и работали бесплатно, за хлеб и махорку, потому что верили в Лося и в его аппарат.

Крышу Лось сделал сдвигающейся: две тяжёлые створки на рельсах, которые разъезжались в стороны с помощью тросов и лебёдки. Когда створки расходились, над ангаром открывался прямоугольник петербургского неба, сизого, низкого, с облаками, похожими на вату. Лось мог смотреть вверх, на звёзды, и вспоминать, как они стоят в космосе: не мерцая, как вбитые гвозди.

В гулком ангаре рождался новый аппарат. Корпус его отливал не тусклой броней, а матовым серебром, и был он яйцеобразным, таким же, как прежний, только грубее и тяжелее. Прежний аппарат был разобран, а его чертежи сожжены в печке: пепел прошлого не годился для новой дороги.

В корпусе стояли шесть больших иллюминаторов: три сверху, в своде корпуса, и три по бокам, в обшивке. Каждый был толстый, выпуклый, оправленный в матовый металл, и каждый прикрывался изнутри плотной шторкой. Шторки открывались рычагами. Лось сам придумал эту систему после первого полёта, когда понял, что обзор нужен не только вперёд, но и во все стороны. Тогда, в двадцать первом, он видел Марс только через узкие глазки, и ему всё время казалось, что он смотрит в замочную скважину. Теперь он хотел видеть всё. Кроме того, в разных частях корпуса были глазки для навигации по звёздам, маленькие, оправленные в латунь,

с тонкими перекрестиями.

Аппарат стоял в центре ангара, на четырёх телескопических опорах. Диски упирались в бетонный пол, и вся конструкция была слегка наклонена, не для осмотра и не для стока воды, а для траектории. Лось рассчитал этот угол сам: при старте аппарат должен был сразу лечь на нужную дугу, и наклон экономил порошок, не приходилось тратить его на то, чтобы задирать нос уже в воздухе.

Гусев не летел, но в подготовке участвовал так, словно летел сам. Каждое утро он приходил в ангар, стучал по опорам, проверял лебёдку и ворчал, что крыша когда-нибудь сорвётся и улетит вместе с аппаратом. Он сам, своими руками, отладил систему посадки, те самые четыре телескопические опоры с широкими дисками на концах, которые Лось рассчитал для нового корабля. Аппарат должен был сесть не «как топор в полено», а мягко, опершись на эти диски, как на лапы. Он же, по своей охоте, опоясал корпус тонкой сетью проволоки, системой электрошока на случай, если кто-то сунется внутрь без спроса. Отключалась она секретной кнопкой, утопленной в панель у самого трапа, под краем обшивки.

— Понял, Сергеич? — тыкал он замасленным пальцем в схему. — Ежели что, сама выровняется. А ежели кто полезет, шибанёт так, что до Земли долетишь.

Лось кивал. Он стоял у трапа, худой, с впалой грудью, и врачи в последний раз качали головами. Старый профессор в пенсне долго держал его за локоть и повторял:

— Сгорите, Мстислав Сергеевич. Сердце не выдержит. Оставьте вы эту красную шкатулку, ступайте в Ялту.

Лось улыбался и молчал.

Серебристое яйцо блестело в свете ламп, и в его матовой поверхности отражались фермы, тросы и сам Лось, с блокнотом в руке, в замасленной куртке.

Вместо Гусева, скрепя сердце, Лось взял в напарники Семёна Шустого, человека-ртуть, кинематографиста и бродягу, исходившего полсвета с цейссовской оптикой на шее. Шустому не нужно было объяснять величие пустоты; он и так знал, что самое прекрасное на свете это то, чего не существует на Земле. В стальное чрево аппарата легла сеть проволоки, мощный радиоаппарат, способный пробить ледяную немоту космоса.

Однажды утром принесли телеграмму. Арчибальд Скайльс, американский журналист, который ещё в двадцать первом году интересовался полётом Лося и писал о нём в своей

газете, извинялся, что не может приехать: дела держат его в Нью-Йорке, здоровье пошаливает, да и редакция не отпускает. Он просил, как и раньше, оплатить его путевые заметки долларами, и добавлял, что верит в успех экспедиции и ждёт сенсации.

Лось прочёл телеграмму, усмехнулся и положил её в блокнот, между страницами с расчётами. Гусев, стоявший рядом, хмыкнул:

— Долларами ему плати. А мы тут на махорке сидим.

— Ничего, — сказал Лось. — Долетим, и доллары будут, и заметки.

Вечером Лось остался в ангаре один. Рабочие разошлись, Гусев ушёл последним, ворча, что лебёдку надо смазать. Лось поднялся на ферму, к самому краю крыши, и потянул за трос. Створки разъехались с тихим скрипом, и над ангаром открылось небо, сизое, с редкими звёздами, которые проступали сквозь облака, как крупинки соли на тёмной бумаге.

Он сел на край фермы, свесив ноги, и достал из кармана шлемофон. Надел его, прижал к уху и стал слушать. Сначала был только треск, ровный, сухой, как шорох песка. Лось ждал. Он привык ждать: с тех пор как вернулся, он каждую

ночь надевал шлемофон и слушал, и голос приходил не всегда. Иногда он слышал только треск и шипение, и тогда он снимал шлемофон и сидел в темноте, глядя на Марс, и думал, что она, может быть, спит, или прячется, или машина снова сломалась.

Но в этот вечер голос пришёл. Сквозь треск, сквозь далёкий гул города, низкий, вибрирующий, как будто кто-то говорил через толщу воды:

— Тхар-ур... аш-ша... тир-на...

Лось замер. Он знал эти слова. Он выучил их в первый раз, в доме Аэлиты, в её комнате с голубым шаром. Она показывала на предметы и называла их. Голубой шар, светильник над столом, она назвала первым. Потом были другие слова: «тьма», «вода», «камень», «ждать». Тхар-ур, сын неба. Аш-ша, я жива. Тир-на, жду тебя. Он повторял за ней, и она смеялась, когда он ошибался.

И оборвалось. Треск. Шипение. Тишина.

Лось сжал шлемофон так, что побелели пальцы. Он видел, как она поднесла к губам маленький флакон. Видел, как она упала. Видел её лицо, спокойное и далёкое. А теперь голос говорил «я жива» и обрывался. Может быть, она хотела ска-

зать что-то ещё? Может быть, она хотела сказать «я жива, но...»? Или «я жива, и Тускуб...»? Он не знал. Он ждал, что голос вернётся, что она договорит. Но треск не прерывался.

Он снял шлемофон и посмотрел на Марс. Ржавое пятно висело над крышами, тусклое, далёкое, и всё же оно было ближе всех звёзд.

Он думал о том, чтобы ответить. Собрать передатчик, он знал как, он инженер, и послать сигнал. Но каждый раз, когда он представлял это, он видел её лицо: как она стоит у окна, как смотрит на небо, как ждёт. И думал: если он пошлёт сигнал, его услышат не только она. Услышит стража. Услышит Тускуб. И тогда её найдут. И тогда её убьют.

Он не мог так рисковать. Он мог ждать. Он умел ждать.

И потом, у него всё равно не было передатчика. Только приёмник, старый, собранный из того, что осталось от первого полёта. Он мог слушать, но не мог говорить. И это было хуже всего: слышать её и не иметь возможности ответить.

Лось полез в карман куртки и достал трубку, старую, обкуренную, с трещиной на чубуке. Врачи запретили ему курить ещё в двадцать первом, после первого полёта, когда сердце начало сдавать. Он обещал бросить. Он даже выбросил та-

бак, весь, до последней щепотки. Но трубку не выбросил. Она осталась в кармане, как привычка, от которой не избавиться.

Он сунул её в зубы и соснул. Пустую. Без табака, без огня, просто чтобы держать во рту, чтобы челюсть помнила, как это было. Трубка была тёплой от кармана, и чубук пах старым деревом и дымом, которого больше не будет.

— Я бросил, — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь. — Честное слово, бросил.

Трубка молчала. Лось усмехнулся и убрал её обратно в карман, но не глубоко, так, чтобы можно было достать снова, когда никто не видит.

На краю поля собралась делегация: красноармейцы в будёновках, члены исполкома в кожаных куртках. Один из них, лысый и важный, держал короткую речь о том, что товарищ Лось прокладывает дорогу человечеству и что красная звезда, которую он несёт в сердце, озарит и Марс. Красноармейцы хлопали нестройно, но искренне.

Хохлов, тот самый, который в первый раз отказывался лететь с Лосем, мял кепку и смотрел на него с тоской.

— Слушай, Сергеич, — подошёл он. — Может, всё-таки? Я вместо тебя. Руки у меня крепкие, глаз верный.

Лось коротко рассмеялся и покачал головой.

— Эх, Хохлов. Твои руки Землю держат. А я лечу за женщиной. Разве поймут тебя марсианские пески?

Хохлов вздохнул и отступил.

Шустый уже был в аппарате. Он высунулся из люка и крикнул:

— Мстислав Сергеевич! Пора! Небо ждёт!

Лось поднялся по трапу и оказался внутри, где было тесно, но уютно: кресла, переплетение проводов, шкафчики с кислородом. В центре стоял радиоаппарат, сеть проволоки, лампы, ручки настройки, а рядом, на крючке, висела тяжёлая брезентовая сумка с длинным проводом и шлемофоном. Лось прикоснулся к холодному металлу, понимая, что этот аппарат должен донести до Земли голос с Марса. Если будет что доносить.

— Ну что, — сказал он, — поехали.

Люк закрылся, из дюз ударило слепящее белое пламя, и серебристое яйцо поднялось над бетоном, сначала медленно, потом всё быстрее уходя вверх. Красноармейцы задрали головы, кто-то снял будёновку, члены исполкома смотрели молча, а Хохлов перекрестился, хотя был коммунистом. Аппарат поднимался в сизое петербургское небо, и вскоре от него осталась только серебристая точка, которая растворилась в облаках. Гусев смотрел вверх и бормотал:

— Дай-то бог. Дай-то бог.

Земля застонала и отпустила своих сыновей.

Глава 2. Земля отпускает

Первые сутки они слышали монотонный гул, ровный, без всплесков, словно где-то далеко работал огромный, хорошо смазанный механизм. Сначала Лось вздрагивал всякий раз, когда ему казалось, что двигатель сбоит: гул на миг менял тон, или в нём проскальзывала хрипотца, или стрелка на манометре дёргалась у красной черты. Тогда он бросал всё, припадал к приборам, сверял показания, стрелки ползли по циферблатам, диски вращались, и смотрел в глазки оптических прицелов, где дрожало отражение далёких звёзд.

Он глядел в эти глазки, пока не начинали слезиться глаза, и только потом, убедившись, что всё в порядке, откидывался в кресле. К утру он привык, и гул стал фоном, таким же привычным, как дыхание.

Когда шторки были открыты, звёзды видны были и сверху, и с боков. Лось то и дело откидывал рычаг то одного, то другого иллюминатора, заглядывал в него, проверял, не изменился ли курс, не сбились ли звёзды. Шустый сидел у верхнего переднего, приникнув к окуляру, и снимал пустоту.

Аппарат шёл тяжело, с надрывом, и Лось то и дело поглядывал на манометры, где стрелки дрожали у красной черты. Он знал, что так будет: топливо было не то, что в первом полёте. Тогда, в двадцать первом, они с Гусевым использовали порошок из редкоземельных материалов, найденных в сибирской экспедиции ещё до войны. Тот порошок давал взрывную тягу, почти мгновенную, и аппарат летел как снаряд, так что они не успели ничего почувствовать, кроме удара в грудь и звона в ушах. Теперь порошок был другим, сделанным из того, что было под рукой, из других материалов, послабее. Он горел медленно, тягуче, и тяга у него была меньше. Лось сам рассчитал новую траекторию, не прямую стрелу к Марсу, а широкую дугу, почти касательную, так топлива хватало, но полёт удлинялся.

— Почему не порошок, как в прошлый раз? — спросил Шустый на второй день, когда тряска стихла.

— Потому что прошлый порошок был из редкоземельных материалов, — ответил Лось. — Мы нашли их в сибирской экспедиции, ещё до войны. Такого порошка больше нет: он давал взрывную тягу, почти мгновенную, и аппарат летел как снаряд. А этот сделан из того, что было под рукой, из других материалов, послабее. Он горит медленно, тягуче, и тяга у него меньше. Я не мог ждать: республика ещё не оправилась от войны, все силы брошены на индустриализацию. Никто не даст мне экспедицию за редкоземельными материалами. Никто не даст времени. Поэтому я взял то, что есть, и пересчитал траекторию. Полёт удлинился, но мы долетим.

— А обратно? — спросил Шустый.

— Обратно тем же порошком, — сказал Лось. — Его хватит, если не тратить зря. Это не выстрел, Семён. Это путь.

Шустый кивнул и больше не спрашивал.

Они летели быстро, но часто по инерции: порошок давал тягу только короткими толчками, а между ними аппарат шёл сам, медленно и ровно, как парусник в штиль. Так шли дни.

Порошок они берегли, не жгли зря, а пускали короткими толчками, ровно столько, чтобы держать курс. Лось с самого начала решил: топливо нужно на обратный путь, и тратил его скупо, как скупец тратит золото. Поэтому двигатель то умолкал, и аппарат плыл по инерции, то снова оживал на несколько минут, и так все два месяца.

Лось почти всё время сидел за навигационным столом. Он то и дело сверялся с показаниями приборов, стрелки ползли по циферблатам, диски вращались, и в глазках оптических прицелов дрожало отражение далёких звёзд. Он глядел в эти глазки, пока не начинали слезиться глаза, и снова склонялся над блокнотом, где колонками стояли цифры: курсы, поправки, расход порошка, время. Когда двигатель замолкал и аппарат шёл по инерции, Лось спал, коротко, урывками, пристёгнутый к креслу, или писал в блокнот новые таблицы, сверяя их с прежними. Шустый в это время снимал или молчал, и оба привыкли к тишине.

На третий день пришла невесомость, и она не была страшной, как писали в книгах, просто всё стало лёгким. Лось оттолкнулся от кресла и поплыл к иллюминатору, и сердце его на миг замерло не от боли, а от восторга: за стеклом была чернота, густая, как дёготь, и в ней горели звёзды, которые не мерцали, как на Земле, а стояли, как вбитые гвозди.

Шустый сначала ругался, потому что его кинокамера уплыла под потолок, и он гонялся за ней, отталкиваясь от стенок, пока не поймал; потом привык, привязал себя к креслу ремнём и стал снимать пустоту часами. Лось смотрел на него и думал, что Шустый единственный человек, которого пустота не пугает, а восхищает.

— Я всегда хотел снять то, чего нет, — сказал Шустый однажды, не отрываясь от окуляра. — На Земле всё уже сняли: каждую гору, каждое лицо. А здесь ничего. И это самое честное, что я видел.

Шустый был из тех, кто не любит рассказывать о себе, но в космосе, когда некуда идти и нечего делать, люди говорят, и Лось узнал его историю по кускам, между вахтами и сном.

Семён Шустый родился в Одессе, в семье фотографа: отец держал мастерскую на Дерибасовской и снимал свадьбы, похороны и портреты гимназисток. Семён с детства пропадал в тёмной комнате, среди красного света и запаха фиксажа, и любил смотреть, как на белой бумаге проступает лицо, сначала бледное, потом всё яснее, пока не станет живым. Отец говорил: «Фотография это охота. Ты ловишь мгновение, пока оно не ушло».

В четырнадцатом году, когда началась война, отец ушёл

на фронт и не вернулся, и мастерская перешла к Семёну. Он снимал раненых в лазаретах, беженцев на вокзалах, разрушенные дома; потом была революция, и он снимал революцию, баррикады, толпы, лица. Он не был ни за красных, ни за белых: он был за мгновение, и ему казалось, что если он снимет всё честно, то сможет понять, куда катится мир.

Но мир не открывался, и чем больше он снимал, тем меньше понимал. Тогда он уехал, сначала в Турцию, потом в Европу, потом в Африку, снимал пирамиды, пустыни, чужие города и научился говорить на пяти языках, плохо, но достаточно, чтобы просить разрешения на съёмку. Он был в Тибете и видел, как монахи сжигают себя на площадях; был в Индии и снимал, как умирают от голода; был в Америке и снимал небоскрёбы, которые казались ему пустыми, как лица.

— Я искал кадр, который объяснит всё, — сказал он Лосю. — Такой, чтобы я посмотрел на него и понял, зачем мы живём. Но его нет. Или он есть, но не на Земле.

Лось слушал и молчал, потому что понимал.

Шустый учил марсианский язык по старым записям Лося. Лось составил их ещё в двадцать первом году, корявые столбцы марсианских слов, переписанных с табличек в лаби-

ринте, с пометками на полях: «огонь», «вода», «опасность», «иди за мной». Шустый выпросил эти записи, переписал в свой блокнот и стал зубрить.

Он делал это вслух, и это сводило Лося с ума.

— «Ырх», — бормотал Шустый, водя пальцем по блокноту. — «Ырх» это камень. «Ырх-а» большая скала. «Ырх-ош» маленький камень. — Он поднимал глаза к потолку и повторял, шевеля губами: — Ырх. Ырх-а. Ырх-ош. Камень. Скала. Камешек.

— Семён, — не выдерживал Лось. — Ты можешь думать молча?

— Не могу, — отвечал Шустый. — Я так запоминаю. Через язык.

Он запоминал через язык, через зубы, через горло. Марсианские слова были непохожи на всё, что он знал: в них было много щелчков, шипения и гортанных звуков, которые приходилось выталкивать из самой глубины горла. Шустый старался, но получалось у него плохо. Он путал «камень» с «водой», «огонь» с «другом» и однажды целый час повторял слово, которое, как выяснилось позже, означало «моя бабушка».

— Ты не расстраивайся, — утешал он сам себя. — Зато я теперь могу сказать «я съел камень». Это тоже полезно.

Лось молчал и смотрел на Марс, который рос в иллюминаторе. Но иногда, когда Шустый особенно старательно выводил «ырх-а», уголок его рта дёргался.

К концу второго месяца Шустый знал уже десятка три слов. Он выучил «дай воды», «где дорога», «не стреляй» и «я друг». Последнее слово он произносил особенно тщательно, потому что понимал: от него может зависеть жизнь.

— А как будет «спасибо»? — спросил он однажды.

Лось оторвался от приборов и сказал. Шустый повторил чисто, с первого раза.

— А «прощай»?

Лось сказал. Шустый повторил тоже чисто.

— А «ты красивая, когда злишься»?

Лось поднял на него глаза.

— Этого слова я не знаю.

— Жаль, — сказал Шустый. — Пригодилось бы.

Свою историю он рассказал Шустому на пятый день, когда аппарат вошёл в плотный метеорный поток и пришлось включать ручное управление. Лось сидел за рычагами, Шустый рядом, с кинокамерой на коленях, и Лось заговорил:

— Я был здесь раньше, Семён. Двадцать первый год, мы летели с Гусевым. Тогда я не знал, зачем, просто хотел долететь, увидеть Марс, понять, что там. Мы вернулись, и я привёз мох, он истлел. И ещё кое-что. — Лось помолчал. — Я слышал её голос. Аэлиту. Она говорила со мной через радио, через машины, которые никто не умеет чинить, и звала меня. Я не сразу понял, что это она. Я не знал, жива ли она, но слышал её в каждом треске, в каждом шорохе: «Сын неба», говорила она. И я понял, что не могу остаться на Земле.

Шустый не перебивал.

— Я инженер, — продолжал Лось. — Я умею считать, чертить, строить. Я умел ждать. Но не мог ждать, зная, что она там одна. А она ждала, каждую ночь, каждую минуту, и я слышал, как она ждёт. И я поклялся, что вернусь: не за славой, не за открытием, а за ней.

Он замолчал и посмотрел на Марс, ржавое пятно, которое росло в иллюминаторе с каждым днём.

— Ты веришь, что она ждёт? — спросил Шустый.

— Верю, — сказал Лось.

На седьмой день они чуть не погибли: аппарат вошёл в облако микрометеоритов, и один из них пробил внешнюю обшивку. Лось и Шустый надели скафандры и вышли наружу, чтобы заварить пробоину, и работали в темноте, при свете фонаря, так что каждый удар молотка отдавался в костях; Шустый держал лист металла, Лось заклёпывал. Когда закончили, оба долго сидели в шлюзе, не снимая шлемов.

— Ну что, — сказал Шустый, — теперь я верю, что мы долетим.

— Почему?

— Потому что мы уже чуть не умерли. Значит, всё настоящее.

Порошок был цел, но Лось берёг его пуще глаза: двигатель работал только короткими толчками, а между ними ап-

парат шёл по инерции, медленно, как парусник в штиль. Время растянулось; Лось подолгу сидел у радиоаппарата, надев шлемофон, и слушал, Шустый снимал, а иногда они играли в шахматы, и фигуры, вырезанные из пробки, висели в невесомости в воздухе, как маленькие планеты.

Глава 3. Зов

Шли недели. Они летели быстро, но часто по инерции, и Марс рос в иллюминаторе медленно, как ржавое пятно на чёрном сукне.

На двадцатый день Лось снова услышал зов, тише, чем в первый раз, но отчётливее, словно кто-то стоял за дверью и ждал, когда её откроют.

— Тхар-ур... аш-ша... тир-на...

Лось снял шлемофон и посмотрел на Марс: до него оставалось ещё далеко, но он уже чувствовал его дыхание, сухое, холодное, красное.

— Скоро, — прошептал он. — Скоро.

Серебристое яйцо корабля шло сквозь ледяную пустыню космоса, и эта пустыня была страшнее марсианских песков. Здесь не было ни ветра, ни пыли, ни звука, только чернота, в которой молчали звёзды, да белесый иней выступал на стекле иллюминаторов. Шустый подолгу сидел у объектива, снимая одно и то же: пустоту. Он говорил, что пустоту надо снимать так же честно, как лицо человека, иначе она не поверит и не откроется.

Лось почти не спал. Он доставал из сумки шлемофон, надевал его на голову, прижимал к уху и слушал. Иногда голос приходил сразу, низкий, вибрирующий, как будто кто-то говорил через толщу воды:

— Тхар-ур... аш-ша... тир-на...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.